



*Возлюбленной Маргарет,  
без которой для меня непредставима творческая жизнь*

# Содержание

|   |     |
|---|-----|
| <i>Андрей Олейников. Освобождение события</i> . . . . . | 7   |
| Предисловие . . . . .                                   | 29  |
| Практическое прошлое . . . . .                          | 38  |
| Правда и обстоятельства . . . . .                       | 70  |
| Историческое событие . . . . .                          | 90  |
| Контекстуализм и историческое понимание . . . . .       | 125 |
| Исторический дискурс и литературная теория . . . . .    | 142 |
| Послесловие . . . . .                                   | 174 |
| Указатель имен . . . . .                                | 184 |

# Предисловие

Всю жизнь меня интересовали отношения истории и литературы. Мой интерес пробудился в тот момент, когда я начал увлекаться историей. Как и многие историки, я впервые встретился с историческим прошлым в рассказах о рыцарях, королях, крестовых походах и битвах; легендах о Робин Гуде, Роланде и короле Артуре; скандинавских и греческих мифах и, конечно, истории Рима. Тогда различие между историей и вымыслом стиралось благодаря увлекательности повествования и волшебству ожившего прошлого, которое я впоследствии обнаружил в фильмах, где «история» также была представлена в образах героев и героинь, благородства и подлости, магов и колдунов и, разумеется, любви и страсти. Я не путал истории, рассказанные в книгах и фильмах (и, конечно, в комиксах), с реальностью. Как мне кажется, это было связано с тем, что я понимал — осознанно или нет — что, будучи историями о прошлом, они не могут принадлежать той же реальности, которая составляет настоящее.

В университете мне посчастливилось изучать историю под руководством одного из величайших преподавателей своего поколения, Уильяма Дж. Боссенбрука. Он учил нас тому, что история прежде всего рассказывает о столкновении идей, ценностей и мечтаний (а не только тел и машин) и что диалектическими могут быть отношения между понятиями, но не вещами. Таким образом, хотя радикальная политика может быть связана с консервативной политикой в виде оппозиции, в которой одна из них определяет свою собственную позитивность как отрицание того, что она принимает за негативность своей противоположности, отношения между двумя вещами (скажем, книгой и молотком) нельзя толковать так же. Нельзя считать молоток

*противоположностью* книги, не говоря уже о том, чтобы он *противоречил* ей. То же самое можно сказать и об отношениях эквивалентности, которые обернул в свою пользу Маркс, рассуждая о фетишизме золота в начале «Капитала».

Это же относится к сообществам и обществам. Они могут считаться связанными отношениями противоположности или отрицания с каким-либо другим сообществом или обществом и даже действовать таким образом, что просто становятся «другими» по отношению к какому-то «другому» сообществу или обществу, но в действительности они просто *отличаются* друг от друга. По большей части, учил меня Боссенбрук, история рассказывает нам о сообществах — нациях, социальных группах, семьях и так далее, — определяющих себя через оппозицию со своим другим, в то время как на самом деле между ними просто есть различия. Он научил меня ценить индивидуальность выше различий и оппозиций; более того, он говорил, что в «истории» есть только индивиды — отдельные люди или коллективы, в зависимости от обстоятельств. И, наконец, поскольку в истории есть только индивиды, сама история должна оставаться тайной, требующей размышления, а не просто головоломкой, которую нужно решить. Как и в предложенной Маймонидом концепции изучения Священного Писания, задача исторического письма состоит в том, чтобы усилить недоумение, а не устранить его.

Как все это связано с отношениями между историей и литературой? Прежде всего, дело в том, что термин «история» — это обозначение понятия, а не *отсылка к* вещи или области, имеющей материальное воплощение. Это понятие может означать «прошлое» или что-то вроде «темпорального процесса», но все это тоже понятия, а не вещи. Они также нематериальны. Мы знаем о них только благодаря «следам» или материальным сущностям, которые указывают не столько на то, что создало их, сколько на «нечто», проходившее в определенном месте или совершившее там какое-то действие. Что именно случилось в этом месте и какое действие было совершено, остается загадкой, решение которой можно логически вывести или интуитивно

понять, но природа ее должна оставаться предположительной — более того, она должна оставаться только возможностью и, следовательно, «вымыслом» (*fiction*).

Под вымыслом я подразумеваю построение или предположение о том, «что, возможно, произошло» или могло бы произойти в какое-то время и в каком-то месте в настоящем, в прошлом или даже в будущем. Защита этой позиции потребует углубления в онтологию и эпистемологию, не говоря уже об этике и эстетике исторического письма, хотя я сейчас не об этом. Я разделяю хорошо известную точку зрения на возможность научного познания «исторического прошлого», а именно считаю, что прошлые события, процессы, институты, люди и вещи уже не могут быть восприняты или непосредственно познаны так, как присутствующие в настоящем или еще живые существа. Таким образом, корреспондентная теория исторической истины терпит неудачу, гонясь за неуместной конкретностью. Во-вторых, хотя современные профессиональные историки ограничиваются утверждениями о прошлом, которые могут быть получены путем изучения письменных, вещественных источников и других остатков прошлой реальности, вид изучения таких свидетельств, лицензируемый исторической профессией, настолько *situativен* (*ad hoc*), тривиален (*merely commonsensical*) и фрагментарен, что даже критерий когерентности не может быть удовлетворен без множества заплаток на скорую руку, носящих образный (*figurative*) (и, следовательно, вымышленный) характер. Идея, что отношения между вещами (а не понятиями) логически связны и, следовательно, отражают реальность вещей, предположительно связанных таким образом, — слишком метафизически идеалистична, чтобы принимать ее на веру сегодня.

Я отдаю себе отчет в том, что занимаю релятивистскую позицию. Но я не понимаю, каким образом истинность наших знаний о прошлом или, более конкретно, об историческом прошлом — не говоря уже о значении этого прошлого — может быть оценена иначе, чем относительно культурных предпосылок тех, кто произвел эти знания,

и в свете культурных предпосылок тех, кто хочет их оценить. Это не аргумент в пользу всеобщего релятивизма, поскольку я готов принять критерии корреспондентной и когерентной теории истины в качестве способов оценки истинности знаний о сущностях, по-прежнему доступных для наблюдения и непосредственного восприятия, и тех сущностей, которые в принципе «воспроизводимы» в лабораторных и экспериментальных условиях. Поскольку исторические сущности по определению индивидуальны, они являются тем, что в британском английском называется «одноразовыми» («one-off») сущностями, которые не могут быть воспроизведены экспериментально и недоступны для непосредственного восприятия, поскольку, также по определению, они являются «прошлыми». (Другое дело — остатки прошлого, дошедшие до наших дней. Они по определению ни в коей мере не являются прошлыми, хотя и несут на себе следы или приметы действий, актов или процессов прошлого.)

Поэтому в отношении исторического знания я занимаю конструктивистскую позицию по причинам как теоретическим (в общих чертах указанным выше), так и практическим, иначе говоря, в той степени, в которой это позволяет мне получить сведения — на прагматических основаниях — о сложных взаимоотношениях между тем, что называется исторической реальностью (прошлым), историческим письмом и тем, что принято называть «вымыслом», но что сейчас я хотел бы назвать (вслед за Мари-Лор Райан) «литературным письмом»<sup>1</sup>.

Литературное письмо — это способ использования языка, отличный от утилитарного или коммуникативного письма (послания) в силу преобладания в нем *поэтической функции* речи. Идея литературного письма (в отличие от «литературы») позволяет мне уточнить различие между историей (или историческим письмом) и вымыслом (или образным письмом) и преодолеть убеждение, что они *противоположны* друг другу как взаимоисключающие альтернативы. Только

1. Ryan M.-R. Truth without Scare Quotes: Post-Sokalian Genre Theory // New Literary History. 1998. Vol. 29. № 4. P. 811–830.

в том случае, если вымысел отождествляется с письмом о воображаемых существах, а литература отождествляется с вымыслом, отношение между историей и литературой должно рассматриваться как простая оппозиция реального мира (прошлого и настоящего) и фантазий, снов, мечтаний и другой фантазматической деятельности (иллюзий, галлюцинаций, фобий и так далее). Понятие литературного письма позволяет нам не только использовать идею «поэзии» или, точнее, «поэтического» в техническом и аналитическом смысле, но и относиться к вымыслу как разновидности «литературы», а не рассматривать его как сущность всех литературных произведений. Дело в том, что не все литературное письмо фикционально, равно как и не все фикциональное письмо является литературой. Биография и автобиография, травелоги и антропологическое письмо могут быть «литературными», но не фикциональными, в то время как некоторые виды художественного письма, такие как научная фантастика, «чиклит», латиноамериканские сериалы, реклама и так далее будут фикциональными, но необязательно литературными. Иными словами, фикциональное письмо иногда бывает литературным в том смысле, что в нем преобладает поэтическая функция, в то время как в других случаях фикциональное письмо — шаблонное, высокопарное или просто формализованное — является чем угодно, но только не литературой, поскольку в нем почти или полностью отсутствует поэтическая функция.

В некоторых своих прошлых эссе я часто говорил об историописании как о смеси фактов и вымысла, а в ряде других случаев даже утверждал, что историописание — особенно в форме нарратива — правильнее всего относить к разряду литературы и, следовательно, вымысла. Это создало некоторую путаницу, поскольку мне не удалось четко показать, что я использую понятие «вымысел» в том значении, которое вкладывал в него Иеремия Бен-там, то есть говорю о своего рода изобретении или конструкции, основанной на гипотезе, а не о манере письма или размышления, сосредоточенной исключительно на



воображаемых или фантастических сущностях. В действительности, однако, взаимоотношения между историей и литературой — это взаимоотношения между двумя видами (жанрами, модусами) письменного дискурса: историографией, исторической прозой или письмом об «истории» и художественным литературным письмом в целом. «В целом», потому что историография является жанром письма, относящимся к категории или классу художественных прозаических дискурсов.

Разумеется, не все историческое письмо является или стремится быть «художественным» в том смысле, в каком это характерно для стихотворения, мемуаров или романа. Более того, с начала XIX века большая часть исторических сочинений стала претендовать на «объективность», отказавшись от любых узнаваемых риторических приемов или украшений поэтического языка. При этом по-прежнему предполагалось, что эти сочинения «рассказывают историю» о «произошедшем в прошлом» и что хорошо выстроенный нарратив — лучший способ донести историческую истину. Итак, позвольте мне пояснить, что для меня прошлое состоит из событий и сущностей, которые когда-то существовали, но больше не существуют; что историки правильно верят в то, что к этому прошлому можно получить доступ и понять его, изучая его следы, существующие в настоящем; и что, наконец, историческое прошлое состоит из референтов тех аспектов прошлого, которые изучаются и затем репрезентируются (или демонстрируются) в жанровых сочинениях, условно называемых «историями» и признаваемых таковыми профессиональными учеными, имеющими право решать, что является «по-настоящему» историческим, а что нет.

Сказав это и фактически подведя некоторое теоретическое основание под присущее профессиональным историкам убеждение в том, что «история» и «историчность» является тем, чем их считают практикующие историки, я должен теперь отметить (и здесь я следую за поздними работами Майкла Оукшотта), что так называемое «историческое прошлое» является *конструкцией* и лишь тщательно

отобранной *версией* прошлого, понимаемого как тотальность всех некогда имевших место, а ныне исчезнувших событий и сущностей, большая часть которых не оставила никаких следов своего существования<sup>1</sup>. Разумеется, именно поэтому историки все время вынуждены уточнять предмет истории: государство, нация, класс, место или территория, учреждения и так далее, о которых можно рассказать основанную на фактах (а не вымышленную) историю.

Иными словами, историческое прошлое необходимо отличать от прошлого как постоянно меняющегося целого или тотальности, частью которой оно (историческое прошлое) является.

Оукшотт предположил, что, помимо прошлого в целом и исторического прошлого, мы должны учитывать то, что он называет «практическим прошлым» отдельных лиц, групп, институтов и видов деятельности, то есть прошлое, на которое люди как индивиды или члены групп опираются для того, чтобы выносить суждения и принимать решения как в повседневной жизни, так и в экстремальных ситуациях (таких как катастрофы, стихийные бедствия, сражения, судебные и другие конфликты, в которых речь идет о выживании). Легко заметить, что в практической жизни историческое прошлое и знание этого прошлого практически бесполезны. Действительно, профессиональные историки заявляют, что их интересуют в первую очередь, если не исключительно, «историческое прошлое само по себе» или понимание прошлого в его собственных терминах и сопротивляются любой склонности делать выводы практического или утилитарного свойства из прошлого в отношении настоящего. Более того, обычно считается, что, когда профессиональный историк использует свой опыт для продвижения какого-либо действующего института или авторитетной инстанции (например, нации, государства, церкви и т.д.), он неизбежно нарушает правила объективности и бескорыстия, которые являются показателем его профессионализма как ученого.

1. *Oakeshott M. On History and Other Essays. Oxford: Blackwell, 1983.*

Описания прошлого, производимые профессиональными историками, обычно претендуют на то, чтобы выявлять и нейтрализовать идеологические искажения прошлого, возникшие из-за стремления укрепить веру в ту или иную актуальную политическую или социальную программу в силу той объективности и незаинтересованности, которую проявляет подлинно профессиональная историография. Так что какими бы ни были цели современного научного исторического исследования, оно служит практической жизни или настоящему лишь в той степени, в которой оно корректирует, нейтрализует или развенчивает искажения, мифы и иллюзии о прошлом, порожденные интересами преимущественно практического характера. Именно поэтому в современных просвещенных (секулярных или нерелигиозных) обществах существует фундаментальное противоречие между историческим и практическим прошлым. Но именно поэтому таким обществам необходим способ изложения практического прошлого, который, имея дело с тем, что обычно называют «историей», использует методы описания, анализа и презентации, похожие на те, которые культивируют профессиональные историки, прежде всего формой (нарратив), а не содержанием (фактическая информация).

В современных западных обществах основным жанром дискурса, разработанным с этой целью (среди прочих), стал современный реалистический роман, отличительный признак которого (как утверждал Эрих Ауэрбах) состоял в том, что в качестве своего основного и конечного референта он избирал «историю». Но в современном реалистическом романе «история», которую подразумевал Ауэрбах, есть то «практическое прошлое», каковое профессиональные историки исключили из возможных объектов исследования по той причине, что оно оказалось непригодным для по-настоящему научного и объективного изучения.

Практическое прошлое, однако, *пригодно* для литературной — то есть художественной или поэтической — обработки, которая вовсе не является «фикциональной» в том смысле, что она не сводится к созданию небылиц или

фантастических произведений. Литературная обработка прошлого — мы можем видеть это на примере различных современных и модернистских романов (но также поэтического или драматического дискурса) — избирает прошлое в качестве своего конечного референта (в дискурсивной теории это называется «субстанцией его содержания»), но сосредотачивается на тех аспектах реального прошлого, с которыми не может работать историческое прошлое.

Например, политическая жизнь прошлого является традиционным предметом исторического изучения не только из-за того, что это важная часть жизни сообщества, но также и потому, что она производит такого рода документальные свидетельства, которые делают возможной надлежащую историческую реконструкцию ее эволюции. Совершенно иначе обстоит дело с такими темами, как любовь, работа или страдания, и такого рода отношениями между ними, которые являются (или были) достаточно реальными, но доступны как объекты *практического* изучения только посредством воображаемой гипотезы. Такое изображение «настроения» или атмосферы Европы после Холокоста, которое мы можем обнаружить в романе В.Г. Зебальда «Аустерлиц», или изображение города Ньюарк, штат Нью-Джерси, после Второй мировой войны в романе Филипа Рота «Американская пастораль» тем не менее является «историческим», будучи скорее воображаемой, а не основанной исключительно на документальных свидетельствах конструкцией. Эти книги нельзя классифицировать как «вымысел», хотя обе они написаны в явно «литературной» манере. Их конечным референтом является «история», даже если по форме («субстанции выражения») они явно вымышлены. Это прекрасные примеры того, как можно использовать «практическое прошлое».

Х.У.

Санта-Круз, Калифорния